

**ДВА ТЕЛА КОРОЛЯ И ДВА ТЕЛА ЗЛОДЕЯ:
ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
«БАНАЛЬНОСТИ ЗЛА» ХАННЫ АРЕНДТ**

Р.В. ГУЛЯЕВ

Аннотация

Статья посвящена анализу философской проблематики книги Ханны Арендт «Банальность зла», традиционно рассматриваемой преимущественно как продолжение ее исторических и политико-теоретических исследований тоталитаризма. В настоящей статье предлагается рассмотреть принципиально другой уровень вопросов, по существу философских и во многом противопоставляющих «Банальность зла» остальному творчеству Арендт. Существенная проблема заключается в наличии двух противоречащих друг другу описаний главного героя книги, Адольфа Эйхмана. На протяжении большей части повествования он предстает бездумным оппортунистом, носителем банальной биографии и шаблонного мышления, из-за исполнительности которого, в сочетании с экстраординарными историческими обстоятельствами, гибнут миллионы. Однако по мере приближения приговора и казни Эйхман в изображении Арендт существенно меняется, в его репликах и поступках появляются трагизм и глубина. При этом отношение самой Арендт и к Эйхману, и к нацистам в целом на протяжении всей ее жизни остается неизменным, и объяснить подобную перемену внезапной личной симпатией к герою невозможно. Начавшись как попытка отделить личность и преступления отдельного индивида от уполномочившего его политического режима, «Банальность зла» внезапно превращается в историю столкновения индивида и бюрократической машины, и Эйхман в течение жизни успевает оказаться по обе стороны этого конфликта. В таком виде книга Арендт перекликается с основным тезисом «Двух тел короля» Эрнста Канторовича: принадлежность к политическому телу сущностно меняет человека, но еще большие изменения происходят в случае попытки его с этим телом разделить.

Ключевые слова: Х. Арендт, Э. Канторович, власть, банальность зла, политическое тело.

Гуляев Роман Владимирович – кандидат философских наук, преподаватель Школы философии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
rgulyaev@gmail.com

Цитирование: ГУЛЯЕВ Р.В. (2017) Два тела короля и два тела злодея: политико-философский аспект «Банальности зла» Ханны Арендт // Философские науки. 2017. № 3. С. 53–67.

Книга Ханны Арендт «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме», вышедшая более полувека назад, в 1963 г., мало кого из своих читателей оставила равнодушным. Подчеркнуто сдержанный и в то же время доступный язык судебного репортажа оказался, возможно, наиболее

продуктивным способом описания постигшей Европу катастрофы 1933–1945 гг. Не пытаясь охватить картину преступлений нацизма в целом, Арендт сосредоточилась на конкретном их исполнителе и показала, как попытки одного неудачника найти себя в жизни и добиться одобрения начальства связываются с высокоэффективной системой массового убийства. В то же время Арендт пресекла попытки выставить Адольфа Эйхмана кровожадным чудовищем и злым гением, в одиночку приводившим в движение махину «окончательного решения»: вина также лежит на немецких военных и гражданских чиновниках, администрации оккупированных стран, лидерах еврейских общин, все они из страха, конформизма или соображений выгоды помогали воплощать программу уничтожения. Собственно говоря, центральная идея книги выражена уже в подзаголовке — «банальность зла»: зло не содержит в себе ничего сверхъестественного, оно вытекает из самого порядка жизни, и тем не менее не перестает быть злом. Наиболее эффективным исполнителем массовых убийств оказывается не фанатик-нигилист, а степенный обыватель, который привык к субординации и трудовой дисциплине и которому нужно кормить семью.

Однако в таком виде выводы Арендт сами начинают носить характер практически банальности, общего места, причем образ обывателя, ставшего нацистским преступником, она вывела еще как минимум в 1944 г. в статье «Организованная вина»: там таким обывателем оказывается рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, и там же звучит на первый взгляд абсурдная, но укладывающаяся в ту же логику фраза, адресованная одним из административных работников Бухенвальда освобожденному узнику: «Ты должен понять — пять лет я был безработным; они могут делать со мной что угодно» [Арендт 2008б, 52].

Если оставить в стороне описания административной механики тоталитарного режима (которые по большому счету лишь дополняют фактическим материалом тезисы более ранней работы «Истоки тоталитаризма»), то содержание «Банальности зла» можно резюмировать фразой А.Ф. Филиппова: «Мы не можем окончательно согласиться или опровергнуть эту оценку, но Арендт пришла к выводу, что Эйхман — просто дурак» [Филиппов 2015]. Для самой Арендт казус Эйхмана, видимо, перестал представлять проблему: статья «Личная ответственность при диктатуре» [Арендт 2013, 47–82], в которой она отвечает на некоторые пункты критики в адрес «Банальности зла», обходит личность Эйхмана стороной. Obersturmbannführer СС вновь возникает в начале неоконченной «Жизни ума», последней книги Арендт, — но лишь для того, чтобы послужить отправной точкой для поиска ответа на вопрос «можно ли существовать, перестав мыслить?» По выражению современного британского историка Дэвида Цезарини, «любой, кто сегодня пишет на эту тему, оказыва-

ется в тени Ханны Арендт» [Cesarini 2007, 15], большинство авторов в целом принимают концепцию «банального зла», при этом указывая на детали, которые она упустила в силу ограниченности доступных на тот момент источников. Некоторые из этих деталей требуют пересмотра в целом оценки Арендт: например, автор новейшего исследования биографии Эйхмана приходит к выводу, что тот обманул и суд, и слушателей процесса, был фанатичным, хитрым и изворотливым нацистом, а образ простака из «Банальности зла» — пример того, как «носитель весьма средних интеллектуальных способностей» обвел вокруг пальца проницательного исследователя и философа, «воспользовавшись ее же собственными ожиданиями и желанием увидеть их удовлетворенными» [Stangneth 2014, 25].

В этой статье мы попробуем оставить в стороне вопрос о реальной личности и мотивах Адольфа Эйхмана. Нас он будет интересовать как персонаж книги Арендт, а вопросы, на которые мы постараемся ответить, — как Арендт выстраивает его образ, находятся ли внутри текста какие-то не вписывающиеся в него черты и как в конечном итоге нужно понимать утверждение о его банальности?

Рассказывая о жизни Эйхмана, Арендт не избегает давать ему слово, приводя выдержки из его речей на суде, а также фрагменты мемуаров, над которыми он работал в тюрьме. Эйхман прекрасно справляется с задачей дискредитации самого себя в глазах читателя; его излияния Арендт сопровождает собственным подчеркнуто нейтральным комментарием в духе официальных биографий. В итоге получаются такие, например, фрагменты:

«Сегодня... я устремился мыслью к 19 мая года 1906-го, когда в пять часов утра явился я в жизнь существом человеческим... Вряд ли они [родители] так радовались бы рождению своего первенца, если бы были способны узреть в тот миг, что Норна печали, а не Норна удачи уже начала вплетать нити горя в мою жизнь. Но непроницаемая и потому благая завеса не позволяла моим родителям увидеть будущее» [Арендт 2008а, 50]. Следом Арендт сообщает, что герой этого эпического описания не смог окончить ни обычную школу, ни профессионально-техническое училище, куда его устроил отец, и был вынужден врать о своем образовании, когда вступал в СС. Далее Эйхман получил работу в нефтяной компании (опять-таки благодаря отцовской протекции) — оттуда его уволили в связи с кризисом в 1933 г. Наконец, в НСДАП Эйхмана приняли не за его личные качества или особое рвение, а благодаря рекомендации очередного отцовского знакомого, молодого юриста Эрнста Кальтенбруннера. Арендт тут же приводит потрясающие показания Эйхмана о том, что в этот момент он выбирал между СС и масонской ложей «Шлариффия», члены

которой посвящали себя «радости, веселью и утонченному юмору» [Арендт 2008а, 59] (к разочарованию Эйхмана, нацисты запретили ему совмещать участие в обеих организациях). Однако из масонов его вскоре выгнали, и карьера эсэсовца осталась единственной возможностью для незадачливого отпрыска буржуазной семьи.

Дальнейшие карьерные шаги Эйхмана Арендт описывает столь же анекдотически: увидев в газетах фотографии суровых телохранителей, сопровождавших фюрера в поездках по стране, он захотел стать одним из них, но по ошибке подал заявление не в Имперскую службу безопасности (*Reichssicherheitsdienst*), т.е. охрану высшего руководства нацистов, а в Службу безопасности рейхсфюрера (*Sicherheitsdienst des Reichsführers SS*, сокращенно СД), функции которой были засекречены и которая в будущем стала главным управленческим инструментом уничтожения политических и расовых врагов. Так что вместо рискованной, полной приключений службы элитного охранника Эйхману пришлось заниматься бумажной работой — собирать информацию и составлять справки о масонах («экспертом» по которым он стал благодаря кратковременному членству в «Шларэффии» — большинство коллег не имели и такого опыта). Затем его перевели в отдел, занимающийся евреями (будущий IV В 4 РСХА), и для погружения в материал начальство велело ему прочитать книгу Теодора Герцля «Еврейское государство». «Этот труд, — пишет Арендт, — мгновенно превратил Эйхмана в прирожденного сиониста» [Арендт 2008а, 70]. Он вдохновился идеей государства Израиль до такой степени, что с того момента постоянно пытался продвигать ее среди членов СС в устных выступлениях и памфлетах, и даже по собственной инициативе изучал иврит.

Эйхман предстает здесь совершенным простаком, который с одинаковой легкостью увлекается, казалось бы, взаимоисключающими вещами и руководствуется лишь одним твердым принципом: начальству виднее. Арендт отмечает, что не все приказы сверху ему одинаково по душе: так, например, заниматься депортацией евреев в Европу и Палестину до 1939 г. ему нравится значительно больше, чем их отправкой в лагеря смерти, а вот попытки Гимmlера в конце войны сохранить живыми побольше узников с гражданством западных стран (чтобы было вокруг чего вести торг после войны) кажутся ему подозрительным «идеализмом» [Арендт 2008а, 325]. Однако пока над ним было начальство, эти личные оценки были для Эйхмана глубоко второстепенными — нравилось ему это или нет, приказы он старался выполнять добросовестно. Сложнее оказалось в суде: начальство исчезло, принимать решения и подбирать формулировки пришлось самому.

Вот с какими словами Эйхман первоначально отказался скреплять свои показания присягой: «Сегодня ни один человек, ни один судья не

сможет убедить меня поклясться или дать показание под присягой. Я отказываюсь от этого, я отказываюсь по соображениям морали. Весь мой жизненный опыт говорит о том, что если человек верен присяге, непременно наступит день, когда ему придется за это расплачиваться, и я пришел к выводу, что ни один судья в мире и ни один из тех, кто обладает властью, не смогут заставить меня поклясться или принести присягу, или дать заверенные присягой показания. Добровольно я на это не пойду, и никто не сможет меня к этому принудить» [Арендт 2008а, 90]. Затем ему объяснили, что он свободен выбрать — давать показания под присягой или без нее; Эйхман незамедлительно выбрал присягу, как будто предыдущая тирада о «соображениях морали» принадлежала не ему, а кому-то другому. Далее, по ходу процесса Эйхман несколько раз с обычным для себя пафосом, но вполне искренне (по мнению Арендт) заявлял, что «для него самое ужасное — попытаться избежать ответственности, сражаться за жизнь, молить о пощаде» [Арендт 2008а, 91]; сразу после вынесения смертного приговора по совету адвоката он собственноручно подал прошение о помиловании, которое не было удовлетворено.

Естественно, может возникнуть вопрос о вменяемости человека, с такой легкостью меняющего свои слова на прямо противоположные, однако несколько экспертиз признали его полностью нормальным; еще более обескураживающей (для читателя, но, видимо, и для Арендт тоже) является оценка тюремного священника, который назвал Эйхмана «человеком с весьма положительными взглядами» [Арендт 2008а, 48]. Положим, оценка священника не касалась преступлений Эйхмана, но зачем Арендт вообще мог понадобиться этот эпизод? Указать на нравственную амбивалентность христианской церкви во всем, что касается событий Второй мировой [Арендт 2013, 282–295]? Однако даже если согласиться с таким объяснением, не получится его распространить на следующий эпизод.

Суд задал Эйхману вопрос о причинах его активного сотрудничества со следствием. Тот рассказал, что в 1959 г. услышал от побывавшего в Германии знакомого о чувстве вины, которое испытывает часть немецкой молодежи за происшедшее во время войны; «факт этого комплекса вины оказался для меня поворотным пунктом, таким же, как, скажем, будет для всех посадка на Луну ракеты с человеком на борту... я понимал, что больше не имею права скрываться» [Арендт 2008а, 361]. Однако это не помешало ему скрываться еще два года — и, вероятно, он мог бы скрываться еще дольше, если бы не вмешательство израильской разведки. Для очищения совести немецкого народа он попросил о возможности собственноручно повеситься, однако при этом заявил, что ни в чем из содеянного не раскаивается: «Раскаяние — удел малолетних детей» [Арендт 2008а, 47]. На первый взгляд, здесь Арендт в очередной раз показывает, как Эйхман делает одно, а потом

говорит совсем другое, сопровождая все это громкими лозунгами. Однако в последней главе «Банальности зла» она с некоторым удивлением приводит слова философа Мартина Бубера о том, что смерть Эйхмана может «служить искуплением вины, которую чувствуют многие молодые люди в Германии» [Арендт 2008а, 374]. Арендт замечает, что этот аргумент «странным образом» переключается с мыслями Эйхмана; для нее самой ситуация, когда люди чувствуют вину за события, к которым они не могли быть причастны, — абсурд (и является столь же явным признаком морального разлада нации, как и случай преступника, не чувствующего за собой вины). Однако «простака» Эйхман находит здесь союзника в лице по крайней мере одного видного немецкого мыслителя; и если уж и обвинять его в банальности мышления, то в данном случае — вместе с Бубером.

Но вот вторая часть данного сюжета — отказ Эйхмана уподобляться «малолетним детям» переключается уже с собственной статьей Арендт «Личная ответственность при диктатуре», в которой она утверждает: ни с кого не может быть снята ответственность за выполнение приказов лишь в силу того, что «любая организация требует повиновения начальству и законам страны» [Арендт 2013, 79]. *Повиновение* в этом случае, говорит она, подменяет собой понятие *сотрудничества*, и «там, где ребенок повинует, взрослый изъявляет согласие [к сотрудничеству]» [Арендт 2013, 80]. Ребенок неспособен сам обеспечить свое существование, поэтому отказ от «сотрудничества» с взрослыми сделает его беспомощным; взрослый дееспособный человек независим, поэтому он может воздержаться от участия в каком-либо общем деле, если не поддерживает его идею (1). Трудно не усмотреть здесь сходство мысли Арендт с «лозунгом», которым Эйхман выразил свой отказ от раскаяния, причем в этом случае его мысль и лаконична, и содержательна.

Но больше всего вопросов вызывает завершающая сцена «Банальности зла». После того как верховный суд Израиля вынес заключение о законности смертного приговора, а президент Ицхак Бен-Цви отклонил прошение о помиловании, участь Эйхмана была решена. Однако исполнение приговора произошло с «поразительной», как пишет Арендт, скоростью в тот же день, 31 мая 1962 г. Она объясняет возможные причины такой спешки: адвокат Роберт Сервациус в это время пробовал добиться от правительства Западной Германии экстрадиции Эйхмана (что еще осложнило бы политическую обстановку вокруг дела), он мог также посоветовать своему подзащитному подать прошение об отсрочке казни; кроме того, 31 мая был четверг, а пятница, суббота и воскресенье — религиозные праздники для трех главных конфессий Израиля, и исполнение приговора пришлось бы откладывать как минимум до понедельника. В результате Эйхмана казнили, когда его адвокатов не было в стране; все готовилось в такой спешке,

что его даже не накормили последним ужином (Эйхман не стал настаивать на этом своем праве, попросив лишь бутылку красного вина). Поведение самого преступника в изображении Арендт являет собой разительный контраст этой бюрократической суете:

«Адольф Эйхман взошел на эшафот с величайшим достоинством (great dignity)... Он отказался от помощи протестантского священника, который предложил почитать с ним Библию: ему оставалось жить всего два часа, он не хотел “терять время”. Он прошел пятьдесят ярдов от своей камеры до места казни спокойный и прямой, руки были связаны у него за спиной... Он полностью контролировал себя, и даже более того: он был самим собой. Ничто не могло бы продемонстрировать этого более убедительно, чем абсурдная простота его последних слов. Он начал с того, что подчеркнул, что он — Gottgläubiger (так, по нацистской моде, называли себя люди, отказавшиеся от христианства) и не верит в жизнь после смерти. Затем он произнес: «Очень скоро, Господа, мы снова встретимся. Такова участь всех нас. Да здравствует Германия, да здравствует Аргентина, да здравствует Австрия! Я не забуду их» [Арендт 2008а, 374].

Книга, герой которой большую часть времени производил впечатление то ли шута, то ли идиота, заканчивается без преувеличения величественной сценой его смерти. Что это: простая добросовестность репортера? Но, во-первых, Арендт не присутствовала лично при этом событии, и поэтому могла бы ограничить описание одной строчкой; во-вторых — невозможно представить, чтобы литератор ее уровня не отдавал себе отчета в том, какое впечатление произведут на читателя те или иные слова. Приходится резюмировать, что и в сцене казни, и во всей книге присутствуют как бы два Эйхмана. Один — недалекий обыватель, пытающийся угодить всем подряд (отцовским друзьям, товарищам по партии, знакомым членам юденратов, следователям, адвокатам, судьям — но больше всего начальству), мыслящий исключительно штампами, банальный, но совершенно не желающий кому-либо зла. Второй — безупречный офицер СС, который отпускает сентенции вроде «я сойду в могилу, смеясь, поскольку... на моей совести смерть пяти миллионов евреев» [Арендт 2008а, 78], не дает пощады врагам и не ждет ее от них, спокойно смотрит на неизбежную смерть и думает лишь о месте, которое займет в истории (типаж в своем роде *клишированный*, но *банальным* его назвать не получится никак). Большинство перечисленных противоречий Эйхмана самому себе — результат столкновения этих двух его «ипостасей», он переходит от одной к другой, явно не отдавая себе в этом отчета. Это можно увидеть даже в его последнем слове: он заявляет, что отрекся от Бога и не верит в загробную жизнь, но тут же обещает окружающим, что скоро с ними встретится, — вероятно, потому, что много раз слышал подобную формулировку на похоронных службах.

Ключевым моментом для понимания взаимоотношений между «двумя Эйхманами» оказывается 8 мая 1945 г. — день, когда он перестал принадлежать к какой-либо организации: «Я чувствовал, что мне предстоит трудная жизнь, жизнь индивидуума, у которого нет вождя, мне больше не от кого будет получать указания, больше мне не будут отдаваться приказы и команды, и больше не будет четких предписаний, с которыми я мог бы сверяться, — короче, передо мной лежала совершенно неизвестная и непонятная мне жизнь» [Арендт 2008а, 58]. Для Арендт это долгожданная возможность взглянуть на него как индивида, отделенного от корпорации и не прячущегося за бюрократической практикой распределения ответственности. Однако всего за несколько лет до процесса над Эйхманом, в 1957 г., в США выходит книга, предлагающая принципиально иной фокус в вопросе соотношения индивида и корпорации. Речь о работе Эрнста Канторовича «Два тела короля».

Формально этот труд посвящен довольно узкому вопросу средневековой политико-правовой мысли: могут ли быть оспорены решения короля, которые он принял, будучи несовершеннолетним либо слабоумным? Ответ находится в средневековых юридических актах, собранных правоведом XVI в. Эдмундом Плауденом и послуживших отправной точкой исследования Канторовича. В одном из них говорится:

«Ни одно деяние, совершаемое королем в качестве короля, не может быть оспорено из-за его несовершеннолетия. Ибо король имеет в себе два тела, а именно тело природное и тело политическое. Его природное тело... есть смертное тело, подверженное всем превратностям природы и случая... Но его политическое тело... состоит из политики и правления и создано для руководства и поддержания общего блага; *и это тело совершенно свободно от младенчества или старости и прочих природных недостатков и немощей...* и по этой причине то, что король совершает в своем политическом теле, не может быть лишено силы или оспорено на основании какого бы то ни было несовершенноства его природного тела (курсив мой. — Р. Г.)» [Канторович 2014, 75].

Это физическое тело может допустить слабость, ошибиться или даже умереть; *политическое тело* не подвержено изменению, не имеет границ ни во времени, ни в пространстве (поскольку король мистически «присутствует», например, в залах суда, где от его имени принимаются решения) и наделяет короля «ангелическим характером», возвышающим его над остальными членами общества. С практической точки зрения безупречность политического тела достигается совместными усилиями короля и его подданных — он составляет «главу» этого тела, они — прочие его органы; «он инкорпорирован с ними, а они — с ним» [Канторович 2014, 84]. Обязанность подданных — за-

щитить короля от поспешных или ошибочных решений, пусть даже это потребует радикальных мер вплоть до устранения природного тела (как это произошло в случае Карла I [Канторович 2014, 89–92]).

Во второй главе (ее, как и первую, переводчик и автор предисловия М.А. Бойцов не относит к «ядру» книги, называя «введением, к которому автор забывает по-настоящему возвратиться» [Канторович 2014, 43]) показывается, какое выражение эта идея получила у Шекспира в «Ричарде II». Переход достаточно неожиданный даже в пределах «Двух тел», хотя Шекспир, как и Плауден, — англичанин и как минимум знаком с политико-правовой проблематикой; и вдвойне рискованно привлекать этот материал для интерпретации «Банальности зла» (Шекспира Арендт один раз упоминает в «Личной ответственности» [Арендт 2013, 59]; а знакомства с Канторовичем, насколько мне известно, вообще не обнаруживает где-либо в своем творчестве). И тем не менее именно этот сюжет позволяет объяснить некоторые «странности» в ее изложении случая Эйхмана.

Сюжет пьесы достаточно прост. Король Ричард II, окруживший себя фаворитами, не желает вмешиваться в конфликт между ними и старой аристократией. Когда же дело доходит до судебного поединка между Томасом де Моурбрей, герцогом Норфолка, и Генри Болингброком, сыном герцога Ланкастерского, обвиняющим его в измене, король предотвращает насилие, изгоняя обоих из страны (первого — пожизненно, второго — на 10 лет) и конфискуя земли Болингброка. Затем Ричард начинает неудачную войну в Ирландии, Болингброк собирает вокруг себя недовольных и возвращается в Англию. Ричард остается без сторонников и без армии и вынужден вступить в переговоры с мятежниками. От него требуют отречься от короны; Ричард подписывает отречение, затем на глазах всего народа направляется в Понтефракт, в тюрьму. Болингброк коронуется под именем Генриха IV, однако узнает о заговоре сторонников прежнего короля, и чтобы обезопасить страну от гражданской войны, вассалы Генриха приходят в тюремную камеру Ричарда и убивают его. Болингброк объявляет траур по убитому и намеревается отправиться в Святую землю для искупления грехов.

Канторович называет эту пьесу «трагедией о двух телах короля» [Канторович 2014, 95] и выделяет три ключевые сцены, в которых образ Ричарда претерпевает существенные изменения. Первая — на побережье Уэльса (акт III, сцена 2), где король высаживается, вернувшись из Ирландии, и узнает новости о мятеже. Первым делом Ричард обращается не к подданным, а к самой земле Англии:

Приветствую тебя, моя земля,
Хоть ты и терпишь, чтоб тебя топтали
Бунтовщики копытами коней! (2)

Затем выражает уверенность, что людские козни неспособны навредить королевской власти, поскольку:

...За каждого из тех, кто поднял сталь,
Поддавшись наущеньям Болингброка,
Противу нашей золотой короны,
Бог Ричарду даст ангела с мечом.
За правду бьется ангельская рать,
Злодеям перед ней не устоять!

По мере получения известий настроение Ричарда меняется, но в признании поражения он сохраняет королевское достоинство:

Угас король, теперь – лишь раб скорбей
Солдат я не держу; пусть пашут, сеют
И пусть на их полях надежды зреют,
А у меня надежды больше нет.

...

Здесь Ричарда закат по воле рока,
А там восходит солнце Болингброка!

Это ипостась подлинного короля – Божьего избранника; однако, как отмечает Канторович, в этой сцене быстро совершается переход от «реализма» королевской власти к «номинализму»: Ричард признает, что ангелы с мечами не спешат обрушиться на его врагов и английская земля не расступается у них под ногами, но надеется вдохновить своим именем верные войска. Когда же король понимает, что и армии у него не осталось, реальность королевской власти распадается окончательно, а «оставшаяся полуреальность напоминает состояние амнезии или сна... и предвещает его появление в качестве Шута у замка Флинт» [Канторович 2014, 99].

В следующей сцене Ричард выступает на переговорах с Болингброком: тот требует лишь возвращения несправедливо отобранных земель и отмены изгнания, но проблема в том, что если король признает несправедливость своего предыдущего решения, обрушится весь авторитет его власти. Поэтому Ричард выступает в двойственной роли: подчеркивает свое королевское величие (появляется на вершине стены замка перед вынужденными смотреть снизу вверх оппонентами, изумляется, что они не преклонили колена при его появлении) и одновременно – бессилие, заставляющее его согласиться с любыми выдвинутыми условиями (т.е. уступить требованиям силы, но не справедливости):

Готов сменять я свой дворец на келью,
Каменья драгоценные – на четки,

Наряд великолепный — на лохмотья,
Резные кубки — на простую миску,
Мой скипетр — на посох пилигрима,
Весь мой народ — на грубое распытье,
И всю мою обширную страну —
На маленькую, тесную могилку,
На тесную убогую могилку.

Канторович очень точно характеризует выбор Ричарда как роль «шута, изображающего короля, и короля, играющего шута» [Канторович 2014, 104] — только в этом образе возможна его коммуникация с подданными, которые требуют от него капитуляции. Все присутствующие одинаково хорошо понимают несоответствие между мистическим величием королевского титула и бедственным положением реального короля, однако Ричард единственный, кто вправе высказать это вслух и оценить ситуацию с горькой иронией:

Смешно! — Ну что ж, посмейтесь надо мною,
Над болтовней безумною, пустою.

Ситуация достигает пика в сцене развенчания (акт IV, сцена 1), которое подразумевает повторение ритуала помазания в обратном порядке, причем все действия Ричард вынужден совершать собственноручно — никто не имеет права касаться монарха. Окончив мучительную процедуру уничтожения своего мистического тела, Ричард просит принести ему зеркало:

Ужели здесь лицо того,
Кто каждый день под кров гостеприимный
Сзывал по десять тысяч человек?
Лицо, что заставляло, словно солнце,
Зажмуриться глядевших на него?
Лицо того, кем управляла прихоть,
А нынче управлять стал Боллингброк?

Больше всего он поражен тем, что физические черты не изменились; однако величие лица в отражении — «бренное», и, не в силах выдержать этого зрелища, Ричард разбивает зеркало об пол. В этот момент «на части разлетаются не только его прошлое и настоящее, но и все грани его сверхмира... Все прежнее многообразие сведено к одному: к заурядному лицу, незначительной *physis* жалкого человека, к *physis*, теперь полностью утратившей какую-либо метафизичность. Это и меньше, и больше, чем смерть» [Канторович 2014, 104]. Король, добровольно приносящий свой титул и свое достоинство в жертву

ради мира в стране, фактически повторяет путь Христа, наместником которого на земле он является; в этот момент выделенная Канторовичем триада образов Король — Шут — Бог завершается, и на переднем плане остается только страдающий человек.

Несмотря на то, что крушение Ричарда выглядит закономерным и справедливым итогом его собственных решений в статусе короля, не возникает сомнений в том, что эта пьеса — именно трагедия. *Трагична та неотвратимість (и необратимость)*, с которой личность главного героя постепенно редуцируется — от абсолютного могущества до абсолютной покорности; однако именно когда перспектива развенчания и утраты политического тела становится все более реальной, Ричард начинает проявлять неожиданные внутренние качества. Он распускает остатки войска и отрекается от короны, чтобы избежать гражданской войны; утешает жену, когда ей предстоит изгнание во Францию, а ему самому — тюремное заключение; улыбается, когда по дороге бывшие подданные забрасывают его грязью; наконец, отказывается принимать отравленную пищу и погибает в схватке. Тоска по утраченной безупречности мистического королевского тела пробуждает в «*physis* жалкого человека», которым стал Ричард, качества, традиционно отождествляемые с королевским достоинством (и несоответствие которым, заметим, спровоцировало изначальный конфликт пьесы): великодушие, смирение, самоотверженность, храбрость. И пусть они не подтверждены официальным статусом или ритуалом и, следовательно, являются столь же «бренными», как отражение в зеркале, посягнуть на них не может ни Болингброк, ни кто-либо другой.

Канторовича можно справедливо упрекнуть в элитизме: указав на совместное участие короля и подданных в образовании «политического тела», он затем сосредоточивает свое внимание именно на фигуре правителя. К. Кобрин резюмирует его главный тезис следующим образом: «Только власть может сделать человека незаурядным, не жалким, метафизическим (в прямом смысле, то есть поверх физиса). Не Знание, не Бог, не Добродетель, не Просвещение, нет, — лишь власть может это» [Кобрин 2014, 139]. Адольф Эйхман ни на одном этапе своей карьеры не располагал властью выше полномочий подполковника — но так сложились обстоятельства, что под эту власть попали жизни миллионов людей. Сам себя он явно видел ответственным в первую очередь перед Историей, а не перед каким бы то ни было уголовным трибуналом. И тем мучительнее выглядит процедура, которой его подвергает суд и цель которой, как в «Ричарде II», — отделить человека от некоторой более возвышенной метафизической сущности. Как обозначить эту сущность в случае Эйхмана — тысячелетний рейх, нацистское движение и т.п. — в принципе, не столь важно. Бессмысленно сравнивать ее по глу-

бине или проработанности со сложнейшей средневековой концепцией королевской власти, базирующейся на политических ритуалах поздней Античности, христианской метафизике и схоластической теологии; и уж во всяком случае Эйхман никаким теоретиком нацизма не был и вряд ли понимал его сколь-нибудь глубоко. Однако весь его нелепый жизненный путь, который рисует Арндт, демонстрирует попытки (сознательные или нет) выйти за пределы заурядного человеческого существования, обрести метафизическое основание своей жизни.

Суд же тщательно следит за тем, чтобы на скамье подсудимых остался лишь человек по имени Адольф Эйхман, а не какой-то коллективный нацистский преступник, воплощающий собой «мистическое тело» режима. Поэтому расспрашивают его в основном о предельно прозаичных вещах: был ли он ознакомлен с тем или иным документом, какие именно заявления своих подчиненных он визировал личной подписью и т.п. Однако можно предположить, что именно эта операция «демистификации» вызывает в нем самом реакцию «воссоздания» в своем лице распадающегося политического тела, принадлежность к которому он впервые по-настоящему ощутил лишь в день, когда оно распалось. Эйхман (в отличие от Ричарда II) вряд ли четко себе представлял тот идеал, который он должен был воплощать, — всю свою карьеру он ориентировался на Гимmlера, Кальтенбруннера, но на скамье подсудимых оказался один. Поэтому в том образе, которому он пытается соответствовать, содержится что-то от офицера, что-то от клерка, что-то от бюргера (которым он тоже не может перестать быть); эти ипостаси смешиваются, от вопросов суда Эйхман еще больше сбивается, преумножая комический эффект несоответствий и противоречий. Однако чем ближе развязка и чем меньше ему приходится говорить о себе (а остается лишь принять неизбежное), тем больше достоинства в нем появляется.

Арндт явно чувствует, что трагедия как-то меняет человека, — только не спешит признавать происходящее с Эйхманом трагедией, поскольку тогда пришлось бы признать его столкнувшимся с непреодолимыми внешними обстоятельствами, что прямо противоречит ее намерению. Но и полностью убрать «выпадающие» из общей логики книги эпизоды она не может, потому что даже такой человек, как Эйхман, заслуживает возможности стремиться к надындивидуальному идеалу (или политическому телу, в терминах Канторовича) и тем самым преодолеть банальность своего природного атомизированного существования, и она всегда будет выступать против попыток его этой возможности лишить.

ПРИМЕЧАНИЯ

(1) Ситуацию экономического кризиса и массовой безработицы, когда человек не может обеспечить свое существование привычными спо-

собами (что, собственно, было важным фактором поддержки нацистов), Арндт в этом случае не рассматривает, но это представляется темой для отдельного исследования.

(2) Здесь и далее перевод М. Донского.

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Арндт 2008a – *Арндт Х.* Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. – М.: Европа, 2008.

Арндт 2008б – *Арндт Х.* Скрытая традиция. – М.: Текст, 2008.

Арндт 2013 – *Арндт Х.* Ответственность и суждение. – М.: Издательство института Гайдара, 2013. С. 47–82.

Канторович 2014 – *Канторович Э.Х.* Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. – М.: Издательство института Гайдара, 2014.

Кобрин 2014 – *Кобрин К.* Эрнст Канторович над историей: дробящиеся тела власти // Неприкосновенный запас. 2014. № 95(3).

Филиппов 2015 – *Филиппов А.Ф.* Проблема морали у Ханны Арндт. Лекция на портале «ПостНаука», 11.03.2015. – URL: <https://postnauka.ru/video/43675> (дата обращения – 07.01.2017).

Cesarani 2007 – *Cesarani D.* Becoming Eichmann: Rethinking the Life, Crimes, and Trial of a “Desk Murderer”. – Boston (MA) Da Capo Press, 2007.

Stangneth 2014 – *Stangneth B.* Eichmann Before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass Murderer. – N. Y.: Knopf, 2014.

**THE KING'S TWO BODIES AND TWO BODIES OF VILLAIN:
POLITICAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT
OF HANNAH ARENDT'S
«EICHMANN IN JERUSALEM:
A REPORT ON THE BANALITY OF EVIL»**

R.V. GULYAEV

Summary

The substantial problem of Hannah Arendt's “Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banality of Evil” lies in two controversial depictions of its main character, Adolph Eichmann. For the most part he looks like a mindless opportunist, whose servility results in death of millions. But Arendt's portrayal of Eichmann significantly changes in view of his death sentence and execution. This alteration can be explained using the main idea of Ernst Kantorowicz's “The King's Two Bodies”: being a part of political body imposes internal changes on a person, and these changes become even more drastic during attempts to separate him from this body.

Keywords: H. Arendt, E. Kantorowicz, authority, banality of evil, political body.

Gulyaev, Roman – Ph.D. in Philosophy, lecturer, School of Philosophy, Faculty of Humanities, National Research University *Higher School of Economics*.

Citation: *GULYAEV R.V.* (2017) The King's Two Bodies and Two Bodies of Villain: Political and Philosophical Aspect of Hannah Arendt's "Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil". In: *Philosophical Sciences*. 2017. Vol. 3, pp. 53-67.

REFERENCES

Arendt H. (2008) *Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banality of Evil*. Moscow (Russian trans.).

Arendt H. (2008) *A Hidden Tradition*. Moscow (Russian trans.).

Arendt H. (2003) *Responsibility and Judgment*. New York.

Cesarani D (2007). *Becoming Eichmann: Rethinking the Life, Crimes, and Trial of a "Desk Murderer"*. Cambridge.

Kantorowicz E.H. (2014) *The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology*. Moscow (Russian trans.).

Kobrin K. (2014) Ernst Kantorowicz Above History: Fractioning Bodies of Authority. In: *Neprikosnovenniy Zapas* [Emergency Store]. 2014. Vol. 3, pp. 119-142 (in Russian).

Stangneth B. (2014) *Eichmann Before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass Murderer*. New York.